*Тёте Шуре в День Рождения*

*рассказ племянницы.*

*1 сентября 2021 года*

**ШУБЕРТ**

Я сам виноват, что влюбился. Я так долго всматривался в неё.

Сущая кнопка, верно дразнили её мои приятели. Пуговка от кителя и то больше. А ресницы – больше пуговки! Она их выращивает на продажу, что ли? И вот её нос. Ну какого лешего я на него смотрю? Он остренький. И от этого ноздри почему-то выглядят красивыми. Пока не видел её улыбку, она обычно хмурится – мне просто интересно, есть ли у неё ямочки-завлекалочки на щеках? У меня вот есть, поэтому, наверное, я имею у женщин такой успех.

Вот с волосами у неё беда. Они крашеные! Я недавно обнаружил это. Не рано ли краситься начала эта пигалица? И вечно торчат «петушки» – я не думал, что у русских такой дефицит с расчёсками. В общем, волосы её – явно не предмет для восхищения. К тому же, она вечно делает дурацкий хвостик – ну зачем, ведь короткий до ужаса! Полная нелепица на голове. Зато уши, оголённые хвостиком, кажутся мягкими-мягкими и даже немного толстыми, наливными. А наливные яблоки, например, сами знаете, часто укусить хочется.

Во мне почти два метра, а в ней – от силы метр пятьдесят. Полметра разница – не шутка! Она вечно сидит к нам спиной, вступая, когда требуется, со своим пианино. Она играет без нот. Сразу запомнила, что, где и когда. Иногда она поворачивает голову в профиль – когда мы просим повторить какой-то эпизод, и я снова вижу мягкое ухо, щёку с предполагаемой ямкой, но при этом совсем не детские, а спокойные и женственные линии личика, губ, лба и шеи… Она сидит очень низко, на самом краю стула, чтобы дотягиваться до педалей.

Она совсем не знает немецкий, и мы с приятелями частенько подшучиваем над ней прямо здесь, на репетициях, за её спиной.

В клуб зашла сияющая до ушей местная председательша – и прямо к нам. Кнопка не сразу поняла, что репетиция прервалась. «Наташа!» – её окликнули, и она остановилась, наконец. И я снова увидел её профиль. «Ты же дочь генерала Пегова?». Для нас это была новость. Кнопка молчала. «Она, она», – встрял конвойный. Председательша дико обрадовалась: «А я-то думаю, вот фамилия знакомая… Знаешь, что это? Он же был у нас однажды». Мёртвой хваткой Кнопка вцепилась в фото, вырвав его у тётки, – на нём было много-много лиц – и принялась жадно искать глазами. Нашла. «А когда он у вас был?» – «Да вот же дата, внизу».

В уголке значилось жирно «1941».

– Да это январь, январь был, – скорей пояснила тётка, видя удивление в сине-зелёных глазах.

Мы думали, она плакать начнёт. А она – нет. Спокойно вернула фото тётке – та была уморительно озадачена.

– Ну, может, ты о нём расскажешь? Как о герое войны?

Кнопка не отреагировала.

– Да он же без вести пропавший, – снова вмешался конвойный.

– Как? Генерал? А так бывает? – удивилась председательша.

– Он вернётся, – уверенно сказала Кнопка.

– Ага, уже год как войне конец… Вернётся он, – скептически буркнул второй конвойный. Они всегда вдвоём нас сопровождали.

– Он должен вернуться. Все рано или поздно возвращаются.

Конвой хотел было возмутиться, но тётка сделала предупреждающий жест: не надо.

Вот, кажется, с этого момента она всех нас очень заинтересовала. Дочка генерала? За каждого такого в войну гору золота и сразу на два звания выше можно было получить. Интересно, куда же этот подевался? Не иголка же в стоге сена – а генерал.

На сон грядущий мы это обсудили:

– А если к нашим перебежал?

– Как его фамилия? Перов?

– Пегов.

Не могли мы вспомнить такого, а ведь командовали даже не одним отрядом и о многих слышали.

– Он, наверное, был совсем шпенделем, потерялся в канаве – и не нашли… Дочка – такой клоп.

Все загоготали.

– Вы видели её обувь? Мы и то лучше ходим. Такая свинья! Не может она быть отпрыском большого человека, деревня дремучая.

Кто-то поддакнул.

– А локти у неё миленькие, – сказал я.

Меня подняли на смех.

– Миленькие? Майн готт! И как ты разглядел? Она вечно укрытая с ног до головы, даже на концертах.

Пара пошлых шуток – и ребята переключились от моих «локотков» на мечты о своих Гертрудах и местных красотках.

А кнопкины локти… Пока она играла, волнами, нежно, убаюкивающе, они ходили, мягко останавливаясь, когда этого требовала музыка или действие спектакля.

Кроме конвоя, нас всегда на гастролях сопровождала надзирательница, суровая и резкая русская фрау, которая фигурой очень смахивала на мужика. На самом деле она была главным организатором этого для нас и для самих русских неожиданного концертного тура. Просто на Новый год в клубе посёлка, у которого располагался лагерь военнопленных, присутствовал какой-то очень известный и очень грустный русский полковник. Он приехал из самого Ленинграда. Мы с ребятами по приказу лагерного начальства придумали музыкальный спектакль к этому событию, исполняя песни и стихи с ужасным акцентом, но по-русски. За всё представление этот мудрёный полковник даже ни разу не улыбнулся, пока весь зал грохотал и держался за животы в особо острых моментах. Костюмы, к тому же, нам пошили отличные, да и декорации было кому намалевать совсем не позорные… Так вот, после спектакля местные усадили полковника за праздничный стол, а тот возьми и скажи: как хорошо всё было сделано, чёрт подери! Это должны видеть другие, чтобы побольше радоваться и активней возрождать порушенную Родину. Мол, народ ещё никак в себя не придёт после войны, пусть немцы их развлекают теперь.

Вот так и сколотили нашу труппу, и теперь мы колесили от посёлка к посёлку, от захудалой деревухи до приличного городка, и за неделю успели дать четыре представления.

Кнопку к нам приставили в последний момент: никто в лагере не играл на фортепиано. Вернее, играла половина труппы, но не могли же мы и роли играть, и на роялях одновременно. Хотя, конечно, враньё это всё: многие узники просто смолчали. Пошёл странный слушок, что путь наш артистический якобы до самой Сибири проляжет, а от самого слова «Сибирь» мы все тряслись, как в лихорадке. Мол, пленных артистов туда и везут… О тех лагерях ходили жуткие слухи.

Честно сказать, мы все, кто попал в труппу, тоже думали самое худшее, но кто нас спрашивал? Я и Эрвин были вообще неуправляемыми: с того момента, как мы попали в плен в ноябре сорок четвёртого, мы по разным-преразным причинам по неделе в месяц точно сидели в карцере, сложенные пополам. Да, пополам – и так всю неделю! С моим ростом, кажется, я вообще в этом карцере втрое складывался.

Поэтому нас никто не спрашивал: придурки-стражники как-то услыхали, что мы с ним поём, и с тех пор понеслась. Ни один концерт без нас не обходился. Других ребят к нам добавили из лагерных антифов – самоназванных антифашистов, которых мы называли стукачами. Но, в принципе, мы с ними неплохо поладили на этих гастролях: нас объединили музыка и театр. И шуточки над пигалицей-пианисткой.

Да, с чего я там начал? А, ну так вот. Наша мужиковатая надзирательница – «менторша» мы её ещё называли – вскоре потребовала расширить программу. Меня поставили петь сольно, ребята учили что-то на гитаре и губных гармошках, а вот наша пианистка упрямилась, ни в какую не желала играть на сцене одна:

– Я не знаю. Не помню ничего. Я только концертмейстер.

Ей вывалили на пианино кучу нот из местной библиотеки: «Учи!».

Но дело было, ясен перец, не в «прохудившейся» памяти. Разве кто-то мог поверить, глядя, как она сопровождает двухчасовой спектакль без нот, без единой ошибки, что у неё плохо с памятью?

– Заодно с Мартином выберете песни.

Она бунтовала. Я видел, как всё это ей не нравится.

– И, кстати, вот новое платье. Твой наряд раскритиковало начальство. Держи. И вот ещё дополнение.

Надзирательша протянула Кнопке синее платьице с короткими рукавами и туфельки.

– Но я не могу… Это невозможно! – испугалась малявка. – Это… не мой размер.

– А ты сделай, чтобы был твой. У тебя три часа.

– Тогда… Тогда я не буду играть. Я отказываюсь.

Мы удивились: чего это наша малышка так встрепенулась?

– Я… не умею шить.

А уши у неё покраснели, как у неумелого врунишки.

– Я умею, – сказал я.

– Вот видишь! Из всего бывает выход, – успокоилась менторша. – Сегодня приедет большой человек из города. Только попробуй подвести! Ты меня знаешь.

Кнопка, чьё сердце, видно, до сих пор жутко колотилось, вцепилась в платье и туфли, уже не понимая, зачем их держит. И побелела как смерть.

– Вы в порядке? – аккуратно спросил я.

Тут и конвой подскочил.

– Эй, Наташ, ты чего это?

– Всё хорошо, – отчётливо, по-немецки, услышал я.

Она поморщилась, как от резкой боли, и потеряла сознание.

Мы все слышали её *Alles ist gut* и были так ошарашены, что, как парализованные, смотрели, как нашу Кнопку приводят в чувства.

– Господи, что это с ней? – беспокоилась менторша. – Что же вечером? Всё пропало… Ты, может, голодная?

Кнопку усадили на стул у пианино.

– Просто воздуха не хватило. Всё в порядке.

Приходя в себя, девчонка потихоньку устраивалась, чтобы снова играть. Её голос звучал необычно взрослым и смиренным.

– Ты точно можешь играть? – менторша изумлённо наблюдала за ней.

– Да, я могу, – твёрдо сказала малявка, чуть меньше минуты назад бывшая совершенным мякишем.

– Боже, а платье! – завопила тётка.

Оно валялось позабытым. Я подобрал его и подал Кнопке, а сам сделал вид, что закопался в нотах на пианино.

– Всё будет. Не волнуйтесь.

И тут любопытство конвоя достигло пика:

– А ты, что, говоришь на немецком?

– Кто говорит? – менторша округлила глаза.

– Да вот она, – один из них указал на Кнопку.

Менторша строго посмотрела на нас. Кто-то кивнул под этим тяжёлым взглядом.

– Вот такие, как ты, как же на войне выручали. А ты в эвакуации отсиделась. И ещё упрямится, как царица, из-за какого-то платья! – менторша была вне себя. – Давайте, пойте, что там у вас?

Она демонстративно уселась в первом ряду и с нетерпением ждала.

– Вы знаете Шуберта? – тихо спросила меня Кнопка.

– Лично – нет, – пошутил я, а она, никак не отреагировав, наиграла знакомую серенаду. Но когда я запел на немецком, менторша подскочила:

– Это ещё что?

– Это язык оригинала, Марья Николавна, – ответила девчонка.

– Чего-чего?

– Язык Шуберта, который это написал.

– Я могу учить русский текст, – вмешался я, предугадав по выражению лица надзирательницы новый горячий конфликт.

Менторше характер Кнопки категорически разонравился, она смотрела на неё, как на врага. А в моих ушах всё звенел этот голос: нежный и сейчас такой величественный. «Язык Шуберта…».

Наша труппа и Кнопка были за кулисами и ждали выхода, пока на сцене менторша, председательша и кто-то ещё толкали речь.

– А Вы когда-то были влюблены? – Кнопка обернулась ко мне так вдруг, что я даже растерялся: во-первых, она впервые заговорила с кем-либо из нас, а во-вторых, она говорила на моём родном языке.

– Да, – ответил я по-русски, – конечно, был.

Мои приятели, переодетые для спектакля, естественно, слышали нас: кулисы для семи человек были тесные.

– И как это? Так, как в книжках пишут? – она вовсе не заигрывала, в глазах было искреннее любопытство.

– Ну, наверное, почти… – я терялся под косыми взглядами товарищей. – Может, и получше даже.

– А Вы… сумели бы это сыграть?

– В спектакле это не нужно, – строго, как папаша, ответил я.

– Нет, не в спектакле, – по-детски возразила она.

Нас объявили. Она как концертмейстер вышла первая и сразу оказалась в центре ослепительных лучей, от которых у меня перехватило дыхание. Она стояла там всего миг, чтобы поклониться публике, – и показалась мне такой высокой-высокой, тоненькой, в этом синем платьице с милыми манжетами и белым воротником. На её шее лежала неуместная косынка, появившаяся в последний момент, больше похожая на сто раз использованную тряпку, которой стол вытирают. Кнопка очень беспокоилась, как бы она не слетела, и всё закрывала эту милую юную шею то невзрачной косынкой, то мягкой ладонью.

Ближе к концу спектакля был момент, где музыка лилась бойко-бойко, как горох из мешка. Для публики это был самый любимый момент, который мы и пианистка обязаны были сделать как виртуозы. В этот вечер в ударе были и мы, и наша малышка, у которой к концу песни косынка всё-таки слетела. Она и забыла о ней, продолжая «огорошивать» довольных зрителей. А у меня и у моих партнёров по сцене на миг и голос задрожал, и слова спутались. То, что открылось нашим глазам, могли видеть лишь мы. Платье открывало лопатки – и широко вырезанные на них латинские буквы SCH, похожие на начало слова. И вообще та часть спины, которую мы увидели, ни на сантиметр не была гладкой и ровной, как должно быть у девушек: бугры, глубокие впадины, как будто эту спину нещадно кромсали, были, видимо, ещё глубже когда-то, раз до сих пор не выровнялись, не зажили толком.

Дальше по сюжету следовал речитатив и смена эпизодов, музыка «отдыхала». Кнопка, наконец, заметила на полу свою косынку. А менторша, которую эта тряпица взбесила сразу, лишь только девчонка вышла на сцену, ловко подхватила её с пола и зажала в кулаке, наслаждаясь спектаклем дальше и посматривая на реакцию важных лиц.

Успех был таким впечатляющим, что срок гастролей решили продлить. Оказывается, среди публики были представители досуговой деятельности из других лагерей военнопленных, уже наслышанные о нашей труппе из П-213. Мы тут же получили приглашение в несколько новых мест. Кнопка им тоже понравилась. Её позвали на общее фото, и она не знала, куда спрятаться от голоса, выкрикивающего её имя.

– Вам не холодно? – я предложил ей свой сценический пиджак.

Она закивала, хотя ей было дурно от надышавшего зала и сумасшедшего волнения. Я накинул пиджак на её плечи – и, приглядевшись, заметил, что они не такие уж выдающиеся. Такие плечи вы увидите у каждой второй девушки. Единственное отличие – на них был мой пиджак.

– Опять напялила какую-то ерунду! – запричитала менторша.

– Я… мне… холодно.

– Ты в своём уме? На фотокарточку – в таком виде?

– Да что же Вы так с ней? Девочке холодно, – вступилось важное лицо, и злыдня-менторша поневоле отступила.

– Можно… нас? – попросил я фотографа. – Пошлём родителям.

Нам разрешили и втолкнули в наш круг Кнопку. Я присел в подобающую герою спектакля позу рядом с ней. А она всё придерживала пиджак, боясь, что и этот предательски свалится.

От Кнопки исходил приятный запах – или это платье, годы лежавшее в сундуке, было так надушено. Не понимаю, как её могли запечатлеть на одном фото с бывшими оккупантами. И как она сама пошла на это? Но, кажется, в тот момент она была согласна на всё, лишь бы с неё не сорвали пиджак.

Поздно вечером к нам постучали. Не спали только я и Эрвин. Стук не был требовательным или сердитым, как бывало обычно. Он даже и не особенно слышен был, но и его хватило, чтобы все наши проснулись, как по тревоге. «Они, что, думают, из их бункера сбежать можно?» – буркнул Эрвин и пошёл открывать. Хотя удивительно, зачем страже вообще понадобилось стучать? Как будто они когда-либо спрашивали разрешения.

– Это к тебе, – бросил Эрвин, скоро вернувшись.

Ребята приподнялись: что ещё за новости?

В «сенях» ждала Кнопка. Она протянула мне пиджак: «Спасибо».

– А как Вы прошли? Там же конвой.

– Я попросила.

– Попросили? – я непонятно почему заволновался, и голос старался сделать сухим и деловитым.

Она всё колебалась, сказать или нет.

– Спокойной ночи, – я хотел закончить разговор, который ничего, кроме тревоги, мне не доставлял.

– А вот Вы… Вы сказали, что могли бы сыграть любовь.

– Я этого не говорил.

– Ах да, точно… Но Вы смогли бы?

Я уже вспомнил целый ворох красивых отказов, но вместо них сказал:

– А Вам это так надо?

Она по-детски закивала:

– Да, очень, очень надо.

Мне, конечно, было интересно, зачем всё это, но я лениво протянул:

– И что мне с этого будет?

Она не ожидала, что я так скажу.

– А что Вам нужно?

– А что у тебя есть?

Она растерялась:

– Ничего.

Она видела, что я не ухожу. Я и сам удивлялся, чего это стою как вкопанный.

– А что делают влюблённые? – ей было очень интересно.

Я оглядел её с ног до головы: вот так поцелуешь, а она в обморок грохнется. Поэтому начал с самого безопасного:

– Ну, говорят всякие слова приятные.

– Какие?

Сегодня она всех нас потрясла как никогда, мы даже о ней говорить не могли перед сном, как обычно. И вот она здесь, передо мной, лопочет всякий бред, а я… Я же любуюсь ею, чёрт возьми.

– Ну, милая… Моя милая… Красивая… Моя маленькая, например.

Мне было не по себе. Что тут вообще происходит?

– А я тоже должна говорить?

– Непременно.

– Ну… Как ты хорошо поёшь.

– Это достоверный факт, его все знают. А что-то, чего не замечают другие, а только ты.

Она хмыкнула: вот задачка-то. Осторожно принялась меня рассматривать.

– Тогда… Мой милый будущий друг.

– Чего?

– Ведь этого же никто не знает, кроме меня. Или ещё… Подсолнушек.

– Это ещё что? – я ошалел.

– Ты такой же высокий, сильный, так же улыбаешься, и… Это неправильно, да? Это неприятные слова?

Я во все глаза на неё смотрел, она – на меня. Я не удержался и поцеловал её в щёку. Чего и следовало ожидать: Кнопка испугалась, и след её простыл.

Я не мог прийти в себя: вот это события. Ещё утром мы были чужими людьми, и вот мы уже на «ты» и едва не обнимаемся. По крайней мере, с такими темпами до этого недалеко. Да ещё на виду у моих собратьев и конвоя… Что происходит?

А за дверью – куча стукачей. И тут уже явно карцером не обойдётся. Одно то, что пленный и русская беседуют, может быть поводом для длительной ссылки куда-нибудь подальше, чем Сибирь.

На сцене шла премьера нашего нового гитарного дуэта. Кнопка посмотрела на меня снизу вверх, со стула, где сидела:

– А ты где родился?

Я осмотрелся: наши ребята были на другом конце кулис и, кажется, с удовольствием глядели на сцену. Я присел на корточки возле неё, чтобы не говорить громко.

– В Берлине.

– В самом?

Я угукнул:

– В районе Шарлоттенбург, возле драматического театра.

Я снова почувствовал этот приятный запах синего платья.

– Это такой с колоннами необычными?

– Ты там была? – я удивился.

Она смешалась:

– Нет… На картинке в учебнике было.

Я снова осмотрелся: приятели на том конце делали вид, что не обращают на нас внимания. Я тихонько взял её за руку, а она не оказала сопротивления. Я не хотел ускорять события, но её покорность была для этого большим стимулом. Она, кажется, впервые позволяла взять свою руку кому бы то ни было.

– С тобой спокойно, – не отрывая глаз от сцены, сказала она, – и тепло.

Я не новичок в любовных играх, но всё, что она мне говорила, ошеломляло меня, как наивную девицу перед Казановой.

Наш дуэт был следующим, и он получился отличным, и становился лучше с каждым выступлением. Часто публика не отпускала нас, и приходилось повторять на бис.

После случая с тайным рукопожатием мы два дня репетировали без Кнопки. Вроде бы, она приболела. Игра во влюблённых взяла паузу… А я каждый вечер ждал стука в дверь. Но его не было.

И вот на третий день утром она пришла на репетицию. Бледная и тихая. Кажется, глаза её зелёно-синие сделались больше. Эрвин поприветствовал её, а она в ответ только кивнула.

Сегодня Кнопка почему-то часто сбивалась. Ноты не помогли.

– Ты, что же, вот так и на концерте будешь? – менторша сидела, положив ногу на ногу.

– Я два дня без репетиции. Немного забыла. Извините.

Она опустила голову и, нервничая, потирала руки.

– Тут нас нагнало одно письмецо, – менторша вынула из кармана конверт, и вздремнувший конвой оживился:

– Ну-ка, ну-ка, что там за любовные послания для нашей козявки?

– Где ты была во время войны? – чеканила надзирательница.

– Вы же знаете. В эвакуации, у тётки…

– Которая умерла ещё до войны, – перебили её.

– Ну, умерла, но дом-то остался, – я видел, как запылали кнопкины уши.

– А знакомы ли тебе вот эти названия: Дубравка, Волхов, Смоленск, Сталинград, Варшава, Берлин…

– Они любому знакомы, Марья Николавна.

У нас дыхание спёрло, когда мы всё это слушали.

– Так ты не герой войны? – голос менторши стал неожиданно тёплым.

Кнопка встала:

– Знаете, что… – она закрыла крышку пианино. – Если Вы хотите, чтобы гастроли прошли успешно, прошу Вас эту тему больше не поднимать.

Повисла звенящая гробовая тишина. Надзирательница тоже поднялась. И её голос снова шёл из самого сердца:

– А с таким характером ты их, – она головой указала на нас, – точно могла за пояс заткнуть. И дойти до Рейхстага.

Кто-то из наших ребят даже рот открыл.

А Кнопка соскочила со сцены и ушла.

– Наташка – вот этот клоп – и Берлин? – переспросил конвойный.

Мы впервые видели менторшу такой растерянной и скорбной:

– А ведь не расколется, хоть батогами лупи.

Вечером она пришла на концерт. Заставили, видимо, чтобы не подвести очередных важных персон. Когда играли гитары, я подошёл к ней, понуро сидящей. Присел.

– Всё хорошо? – я взял её руку.

Она закивала.

– А ты сейчас играешь, ведь правда?

Я высматривал в её глазах и милом личике то, что она жаждала услышать в ответ.

– Играю.

Она успокоилась. Я почувствовал, как её ладонь прикоснулась к моему лицу, – и закрыл глаза, так упоительно было это прикосновение.

– Ты хочешь меня поцеловать? – спросила она.

Я поражался, как эта девчонка так скоро заполнила меня целиком, как же я допустил это?

– А ты хочешь, чтобы я тебя поцеловал?

Она кивнула, и я не заставил себя ждать.

– Два идиота! Вы нас всех угробить решили?

Я пришёл в себя, когда Эрвин зашипел в самое ухо. Мы с Кнопкой вскочили и переглянулись – правда, худших счастливейших идиотов ещё надо было поискать.

Пришло время нашего дуэта. Её Шуберт исполнял ей свою серенаду… Как же мне хотелось спеть её со всей радостью, которая сейчас переполняла меня, пусть музыка диктовала обратное. Я даже сразу не понял, что музыка остановилась, а Кнопка лежала на полу. Над ней закружились местные и менторша, пока один не подхватил её и не побежал к выходу, а следом – ещё целый хвост помощников. А я не смел к ней даже притронуться.

И мне показалось, что в этот вечер менторша сокрушалась вовсе не от сорванного концерта.

На следующий день во время обеда – мы ели за одним столом с нашими сопровождающими, пусть и всегда в отдалении – я узнал, что у Кнопки больное сердце.

– С больным сердцем она бы не прошла войну, – возразили надзирательнице.

– Это осколок. Но она его получила по пути в эвакуацию, понятно? Чтобы ни слова о войне!

Собеседники удивлённо переглянулись и кивнули.

– Как же она на дочку мою похожа… – улыбнулась менторша. – Такой же кремень.

– А где Ваша дочка-то, товарищ майор? В посёлке?

– В земле сырой. Расстреляли её.

У меня аппетита и так не было последние дни, а тут и вовсе кусок в горле застрял. Мои приятели тоже жевали через силу, слушая это. Вроде, прямо нас никто и не обвинял, но всё же…

Кнопка сама пришла ко мне. Я усадил её на койку: так удобнее, чем стоять. Ребята притворились, что спят.

– Нужно всё прекратить, – тихо сказала она.

Я давно ждал этих слов. С самого начала. Всё было обречено с самого начала. Хорошо, что мы играли. Она впервые улыбнулась, пусть и грустно – ямочек на щеках не было. Но эти щёки я хотел целовать целую вечность.

– После гастролей вы поедете домой? – она смотрела так спокойно, будто и не ожидая иного исхода, и вполне смирившись с ним.

Я молчал. Дыхания что-то не хватало.

– Спасибо, что помог… Я слышала, что ты популярен у местных женщин. И подумала, что ты… знаешь про любовь. Тем более ты актёр. Я без тебя никогда бы это не почувствовала.

– Ты не боишься говорить это здесь?

– Мне нечего терять, – она качнула головой и поднялась.

– Но зачем тебе всё это нужно было так срочно? Со мной?

Она молчала.

– Ведь твой отец, твоя родня – они могут вернуться в любой момент.

Она пошла к двери:

– Они не вернутся. Ну, прощай.

До рассвета я слушал звенящую тишину нашей комнаты. Сопели не все: мысли давили нас.

Силы воли мне было не занимать. Иначе бы я не стал старшим офицером СС. Я не смотрел больше в её сторону – приятели могут это подтвердить! Я не приветствовал её, я вычёркивал её из своей жизни. Так было спокойнее. Тем более, сейчас всякие шашни были риском не вернуться домой. А нам пообещали.

За кулисами мы стояли вместе, но ни единый мускул не дрогнул – клянусь. Никаких тайных взглядов. Игра закончилась к всеобщему удовольствию.

Поклонниц – хорошеньких и с манящими ямочками – к нам не подпускали, но от их восторженных криков было приятно даже на расстоянии. Я заметил – и к нашей Кнопке подошёл какой-то красивый парень, а она ему улыбнулась.

Ежедневно мы обедали за одним столом – на разных концах, как прежде. И единственным объектом моего интереса была тарелка с едой.

Когда приехали в новое место, была уже глубокая осень. Места это были дикие и дремучие, хотя в самом посёлке кипела весёлая рабочая жизнь.

Менторша задержала нас очередными ЦУ, и в репетиционный зал мы пошли позже обычного. Издалека я услышал отменный звук рояля, мы даже остановились – каким певучим он был. Такой хороший объёмный звук и такое исполнение, расковыривающее душу, я не слышал лет десять. Какой-то местный умелец восхитительно импровизировал легендарную «Аве Марию».

– Надо бы попросить его для нашего концерта, – менторша собралась открыть дверь, но рука её застыла. В приоткрытую щель мы все увидели Кнопку. От скорби и зеленоватого занавеса лицо её сияло золотым.

Как много я вспомнил под эту музыку: отца, детство, драки с любимым братом, который стал потом тоже СС, и мы так им гордились. Пожары, вот такие же посёлки, как этот, танки, ночные бои… И что осталось? Что осталось?

Она всех нас – и пленных, и менторшу, и местного директора клуба, и конвой – всех нас пришибла этой музыкой. Она закончила, а мы всё не могли войти и нарушить всё ещё наполненное звуками молчание. Первой нашлась менторша, она как будто продолжала давно начатый разговор:

– …да, так вот, знайте, мои дорогие, – вошла она в зал, ведя за собой нашу толпу, – что в случае чего вам не поздоровится, это ясно?

– Гулять даже у леса, не то что в нём самом, категорически воспрещается! – поддержал директор клуба.

Мы кивали, как истуканы.

– Давно ждёшь? – спросила менторша Кнопку.

– Нет, только пришла.

Она встала из-за пианино и, ни на кого не глядя, зашла за кулисы. Кто-то начал толкать на сцене свои диалоги. А кто-то наблюдал её, сидящую у стены и уткнувшую голову в колени.

Какой далёкой она мне показалась в эту минуту. И как мы вообще могли сблизиться? Дочь русского генерала и офицер Третьего Рейха. Что за насмешка судьбы? Кому же так захотелось посмеяться над нами?

– Где она? – менторша поняла, что музыка, следовавшая за диалогом актёров, не вступила.

Она тяжёлым шагом ступила на сцену, сокрушаясь, как же можно быть девчонке такой рассеянной. Мы все ожидали бурной развязки. Войдя за кулисы, она увидела Кнопку, которая сидела в прежней неподвижной позе. Вот сейчас последует выговор. Но менторша застыла, не в силах сделать ещё хоть шаг к нарушительнице репетиции. Она долго смотрела на неё, как смотрит мать на несчастное дитя, которому уже ничем нельзя помочь, – и отступила. Махнула – репетируйте дальше. И уселась в дальний ряд, то ли наблюдая за нами оттуда, то ли погрузившись в свои болезненные мысли.

А рояль оказался немецкой марки. От него пахло домом.

Ужин после концерта был особенно вкусным. За столом с нами сидело местное начальство. Нас расспрашивали об условиях жизни в плену, ну а что мы могли ответить: сейчас мы считались привилегированными пленными, а как жили остальные, явно на три ступени ниже и по питанию, и по отношению, и по всему… Разве об этом расскажешь? Тогда бы точно нам нашей Германии не видать.

– Ребята, а где Наташа? Такая маленькая девочка у вас, – поинтересовался директор клуба. – Мы слышали, она была разведчицей.

Никто из нас, как оказалось, после концерта Кнопку не видел.

– Наверное, подышать пошла, – сказала менторша. – Ей свежий воздух очень нужен. В лесу гуляет неподалёку или…

– В каком лесу, товарищи? Мы же предупреждали – волки у нас кругом. Да и медведи встречаются.

– Ну не настолько же она глупышка. Я помню, точно, при ней предупреждали. Должно, в комнату нашу вернулась.

Но менторша вернулась ни с чем. Я опомнился, когда дёргал конвойного за рукав:

– Давайте поищем.

И все будто ждали этого.

– Конечно, искать надо! – подскочили русские.

– И мы тоже, – сказал я, а в горле ужас как пересохло от предчувствия.

– Ещё чего! Чтобы сбежали, голубчики! – возмутился конвой, но менторша заступилась:

– Какой «сбежать», им же вольную дают!

Она кинулась к выходу, мы – за ней, там разбились на две группы… В тёмном холодном лесу отовсюду слышались шорох и дыхание невидимого зверья, то с востока, то с запада доносился зловещий вой.

– Наташа! Наташа! – кричали русские.

– Кнопка! – орал я, позабыв всякий страх перед моими победителями.

– Там! – мы услыхали жуткое рычание. – Там стая целая, ребята!

Картина открылась жуткая. Посреди поляны на обособленно стоящее дерево с разбега пытались запрыгнуть здоровенные волки. Они доставали острыми зубами до ног перепуганной Кнопки, которая беспомощно искала спасения. Но верхняя ветка была чересчур высоко, до других деревьев дотянуться было невозможно, а то, на котором она сидела, грозило сломаться в любую секунду и наклонялось всё ниже.

В поле зрения волков было пять-шесть, какие-то постоянно исчезали в кустах, другие появлялись из ниоткуда. Я и не помнил, как с воплем кинулся к ним, схватив какой-то сук. Один из нас пронзительно, протяжно свистнул, подавая сигнал второй группе искателей, которая бродила, верно, в добром километре от нас.

Мы все принялись отчаянно свистеть, а волки, сначала испугавшись, собирались теперь теснее, число их росло, и они наверняка уже задумали всеми нами поужинать.

– Какого лешего ты сюда попёрлась? – орал конвой.

У самого крупного зубы были в крови – видимо, это он покушался на нашу Кнопку.

Впервые за эту неделю я взглянул на неё: она, ни жива ни мертва, смотрела на меня. Мы окружили дерево, подцепив с земли кто что нашёл, и приготовились держать оборону.

– Где твой пистолет, кретин? – орал один конвойный на другого.

– А твой автомат?

– Да я что, больной, тащиться с ним на концерт? Девчонки молодые, дети там…

Нас было пятеро против этой разросшейся и подступавшей всё ближе волчьей армии.

– Так в бою и без них обходились, – тряхнул головой первый. – Руками вот этими…

Они оба снова отчаянно засвистели, и мы вторили им.

– Ребята, сапоги!

Кнопка сбросила свою хорошо изорванную хищниками обувку: тяжёлые каблуки оставляли больше шансов выжить в неминуемой схватке. И хотя сапога было всего два, и они должны были достаться русским, однако один иваны отдали нам.

– Натаха, свисти! Изо всех сил, поняла? Не умеешь – ори, пищи, как хочешь, а то все тут поляжем…

Девчонка закивала, но свист у неё не получался.

– Да что же такое… – причитала она.

Откуда-то выпрыгнул на нас здоровенный волчара – и такой неистовый свист полетел по всему лесу, что, кажется, его услыхали бы и на Камчатке. Некоторые зверюги шарахнулись в сторону, а другие, наоборот, ощерившись, кинулись к нам, изо рта у них обильно лилась слюна – то ли так хотелось сожрать нас, то ли это такая обычная реакция у диких зверей перед схваткой, не знаю. Я впервые видел живых волков.

Вожак своей целью выбрал меня. Он решительно подкрадывался ко мне, а я, заорав от страха и злости, кинулся на него, размахивая никчёмным сучком. Сапог я кинул антифу – он был самым тщедушным из нас. И как же я сожалел, что вот так легко профукал свою жизнь, а этот сапог мог бы её, наверное, спасти. Сучок обломился, и я стоял перед истекающим жирными блестящими слюнями крупным зверюгой без оружия, ощерившись под стать ему. Мы впились колючими глазами друг в друга: я надеялся сломить его одним взглядом. О господи, всю войну под пулями ползать, попасть в плен и мечтать о родном палисаднике, о том, как однажды обниму мать в розовом фартучке, пройдусь по свежим лужицам любимого Шарлоттенбурга после тёплого дождя…

– Мартин, назад! Назад!

Это кричали русские. Я покосился – и увидел, что к вожаку на подмогу на полусогнутых приближаются другие волки, и вместо глаз у них сияющие фары. Дерево с Кнопкой осталось метрах в десяти позади. Но, видимо, всё-таки взгляд мой был супероружием – главный отступал, пока я шёл на него.

А вожак не отступал – он заманивал. Я попятился, когда понял, что оказался в ловушке, но как же я верил в этот один процент, шептавший: «Жить, жить, жить»… Те четверо не могли мне помочь – они пока что удачно держали оборону плечом к плечу, пугая хищников беспорядочными страшными воплями и отбиваясь от особо голодных.

Как же я вот так отбился? По-моему, и волков собралось вокруг меня больше, чем у того дерева.

– Мартин, Мартин!

Это кричала Кнопка. Я оглянулся. Десять метров. Десять чёртовых метров до неё. Она что есть мочи засвистела: волки даже уши прижали. Моё сердце ёкнуло: я увидел, что она слезает с дерева.

– Не смей! – зарычал я, а внимание стаи вокруг переключилось на неё, эту самую ослабленную жертву среди всех нас, пахнущую свежей кровью, всё ещё стекающей по искусанным ногам.

– Ану, назад! – скомандовал русский. – Назад, паразитка!

Он толкнул её назад к дереву. А она всё смотрела на меня, снова и снова отчаянно свистя.

Вожак фыркнул, и я на этот раз ждать не стал: под ногами было полно мокрых подгнивших листьев, которые я сгрёб и кинул ему в глаза. Он ощетинился от такой наглости и прыгнул на меня. Всё потонуло в кнопкиных свистах, диких воплях четвёрки у дерева, щёлканье жадных челюстей и рваных воспоминаниях о саде у немецкого дома…

Выстрелы один за другим положили конец кровавому кошмару. Вожак рухнул всем весом прямо на меня – какая же туша это была!

– Все живые?

– Ну и долго же вы, черепахи рассякие! – выругался русский, бросив сапог Кнопки о землю и едва переведя дух.

– Это же надо, что всё оружие у вас оказалось, а мы все пустые! – второй конвойный тяжело дышал.

У дерева лежало четыре убитых волка, возле меня – ещё столько же. Я кое-как выбрался из-под вожака.

– Эй, эй, помогите ему!

Ко мне подбежали мои ребята из второй, невредимой группы искателей.

– Отвалите, – я поднялся сам.

– Господи, Мартин, рука! – указал один на мой рукав, сейчас полностью тёмно-красный.

Я посмотрел на Кнопку. Над ней склонилась менторша, безуспешно помогая подняться: онемевшие ноги девчонку не слушали.

Такое странное это было чувство: что мы сражались вместе с русскими. Их храбрость была вовсе не пропагандой. И не в какой-то потусторонней силе дело. Минуту назад в пасти у смерти – и вот они уже смеются, как будто ничего не случилось. А эта девчонка, свистевшая, как целый взвод, теперь с полными слёз глазами смотрела на меня. Я поднял её на руки:

– Куда нести?

– Вот же чёртова кукла! Ведь чуть не стали ужином для этих зверюг! – выругался один из конвойных.

– Простите, – она разревелась, уткнувшись в меня.

– Ты чего сюда потащилась, чумовая? – возмущались русские.

– Я убегала от них…

– Куда? В лес? – директор клуба тоже был тут. Он упёр руки в бока. – И это, что, ваш так называемый партизан?

Кнопка рыдала. Менторша постучала по моему плечу:

– Неси, неси – вон на тот огонёк. У тебя что с рукой? Ребята, возьмите её!

– Нет, – плечо болело жутко, а я всё нёс Кнопку на огонёк – километра два. А она всё плакала, как маленькая, и на её ногах запеклась кровь.

У посёлка кто-то взял её у меня. Вот и всё. Мучительные, болезненные до ужаса и такие тёплые минуты, когда я нёс её, ушли. Мы и словом не обмолвились.

Когда мы ждали перевязки, я осмелился подойти к менторше, которая очень переживала за Кнопку:

– Операция.

– Что?

– Уговорите её сделать операцию.

Она не понимала меня.

– Осколок можно убрать.

Надзирательница тяжело вздохнула.

– Осколок – это война. А она о ней не говорит. Ни слова. Только намекнёшь – и всё, как будто её не касается.

Дверь перевязочной открылась:

– Следующий!

Прихрамывая, оттуда вышла Кнопка с перебинтованными ногами.

– А вы чего смурные такие? Всё хорошо, – улыбнулась девчонка.

Надзирательница и сама просветлела от этой улыбки.

Мы обедали, и я был уверен, что Кнопка смотрит на меня. Я так старался спокойно жевать. Почувствовав, что взгляд ушёл, теперь я посмотрел в её сторону. Она тихо ела. Мне показалось, что за нами наблюдают, и тоже уткнулся глазами в тарелку.

Плечо, из которого был выдран приличный клок, сильно болело, от падения на меня волчьей туши ломило кости. А я всё думал о милых пальцах, держащих сейчас ложку, и о неизменном дурацком хвостике.

– Ты хоть знаешь, что в посёлок не вернёшься? – менторша лукаво засияла на Кнопку синими, как Волга, глазами.

Она ждала в ответ самые живые эмоции от девчонки: тревогу, радость, нетерпение – что угодно. Мы даже есть перестали: вот это новости. Но нетерпеливо ждали все, кроме Кнопки.

– А Вы это тоже чувствуете?

Голос её был очень спокойным.

– Что «это»? – не поняла менторша. – Ты помнишь полковника, который в городе Д. в первом ряду сидел? Мы думали, он словца красного ради тобой восхищался. А он обратился в ленинградскую консерваторию! Это же Родина твоя. В посёлке нашем и угла ведь толком не имеешь, а там тебя примут без экзаменов.

– Значит, через полгода? – улыбнулась Кнопка с прежним неуместным спокойствием.

– Ты представь, конкурсы огромные! Вот в МХАТ, например, в том году было пятьсот человек на место! И пусть это театральный, но сейчас везде такая же картина: и в музыкальных, и в технических – везде. А тебя – без экзаменов! Да и ведь город родной, вот что главное.

– Ленинград, конечно! – поддержал её один из конвоя. – Меня мать туда в детстве возила, на всю жизнь впечатление!

– И блокаду выдержал! Товарищ Сталин его городом-героем объявил! – взахлёб подхватывали другие, а Кнопка смотрела на них, оживлённых, как будто говорили они о том, что её совсем не касалось, и радовалась не за себя, а за этих людей, которым сейчас так хорошо на сердце.

Значит, скоро гастроли должны закончиться. Может, месяца два ещё? Никто из нас не знал точно, когда это случится: с нами совет не держали. И пусть условия жизни от поселения к поселению были не всегда самые хорошие, мы часто мёрзли, на ногах переносили температуру и простуду, тряслись в этих ледяных фургонах вместе с концертным реквизитом… Но в лагере, откуда начался весь наш звёздный путь, было ещё ужасней. Полно больных, часто – эпидемии вшивости, но хуже всего – антифы, которые стучали лагерному начальству про каждый твой шаг. Тут, в труппе, они почему-то вели себя спокойно. Неужели они не доложили менторше о том, что Кнопка приходила ко мне, и не раз? Да чего стоит один её вопрос о том, влюблялся ли я, при всех, за кулисами? И, мой бог, в конце концов, я при всех взял её за руку. На самом деле, это была шутка. Я был уверен, что она выдернет руку и, того хуже, врежет мне по лицу… В общем, антифы стали, пусть и на время, но невероятно смирными.

Я вырос в огромном Берлине и не был дома семь лет. Всякий раз мой отпуск срывался. Честно сказать, посёлки, деревухи, сёла, городки – как же мне всё это надоело. Хорошо, что Кнопка поедет в Ленинград. Там широкие улицы, большие магазины, красивейшие старинные театры… Она будет в своей стихии и поэтому будет счастлива. Там доступная медицина, метро, жизнь через край. Я тоже очень скучаю по этому.

За два года плена я ни разу – ни вскользь, ни понаслышке с ней не соприкоснулся. Вечно дурачился, пел оды фюреру, чтобы позлить антифов и не забыть о том, какой великий человек меня воспитал. А она в это время взяла мой Берлин, мой Шарлоттенбург, мой сад, мои улицы… Она чудом – такая маленькая – не потерялась по долгой дороге домой. Какая же она маленькая… Я к чему. Если я вернусь в наш убогий лагерь, в наш убогий посёлок, а она поедет учиться в Ленинград… Она, что, правда, туда поедет?

Кнопка лежала лицом к стене. Менторша потрогала её лоб: повода для волнений не было. Села рядом.

– Послушай, завтра на концерте будет один врач… Хирург. Очень замечательный. Говорят, на войне со многими возиться то ли времени, то ли таланта не было, раненым часто грозила ампутация. А этот всех на ноги ставил. Всех… Я поговорю с ним о тебе?

– Хорошо.

– Конечно, любая операция – это риск. Но жить, нося у сердца убийцу, – риск ещё больший, – менторша привыкла слышать кнопкины протесты и потому сразу не поняла, что та ответила.

– Хорошо, я поняла.

Девчонка села на кровати и улыбнулась.

– Правда? – менторша поверить не могла.

– Конечно.

Она выглядела счастливой, будто тоже заразилась этой мечтой. Вот сейчас, в эту самую минуту, она верила, что всё будет.

Это был очень радостный день. Кнопка жила надеждами, мы жили надеждами… Ах да, я ещё не сказал. Тем же вечером, часов в девять, надзирательница ворвалась к нам в комнату, мы все повскакивали, выстроились в шеренгу. Конвой был тут же, так что в и без того тесной каморке стало почти нечем дышать. Вид у менторши был, как всегда, строгий, говорила она резко. Настолько резко, что мы не сразу поняли смысл её слов.

– Никакого цирка чтобы, ясно? До окончания концерта, который состоится в М. послезавтра, вы остаётесь пленными. Мы решили прекратить гастроли ради той, которая была вашим концертмейстером.

По-моему, она не заметила, как сказала это «была». Мы все поняли, что речь шла об осколке.

Менторша вытащила из кармана коробочку и открыла её. В ней сверкал орден.

– Вот, видели?

Тогда мы уже худо-бедно владели русским, чтобы читать. На сверкающем ордене было написано «Герой Советского Союза».

Конвой обомлел:

– Кому это, товарищ майор? «За Победу над фашистской Германией»…

Менторша любовалась наградой, как милым ребёнком:

– Кому-кому, одной разведчице симпатичной. На концерте и вручим. Да, так вот…

Она вернулась к прежнему гавкающему тону и снова стала ходить мимо нас взад-вперёд:

– За добросовестный труд, направленный на активное возрождение духа в советских людях, за примерное поведение, а главное, за спасение человеческой жизни немецкие военнопленные лагеря П-213, гастролирующие труппой в составе шести человек, с такого-то числа декабря могут вернуться домой.

Мы едва могли дышать. «Такого-то числа декабря» было послезавтра. Это шутка? Господи, разве можно так жестоко шутить?

Мы все обернулись на Эрвина: он рыдал! Вот этот сдержанный, жёсткий, жестокий аккуратист ревел белугой. Остальные тоже были на грани, да и мне ком к горлу подступил жуткий, но мы, как могли, сдерживались и с горячим нетерпением ждали, когда уйдут эти русские, подарившие нам вот так вдруг, от широкой ли души, от минутного ли порыва, самое драгоценное из всех сокровищ.

– Ты – за мной, – скомандовала менторша, и этот категоричный колючий тон напомнил всем, что мы всё ещё пленные и в полной власти у наших лагерных хозяев.

Я вышел за ней.

– Я сама его отведу, – бросила она, не оборачиваясь, последовавшему за нами конвою. – Вы придёте за ним через два часа.

Конвой помялся, но спорить не стал: только полный кретин стал бы удирать из плена накануне освобождения.

Менторша молча вела меня к клубу, где у нас сегодня был концерт. Мне стало не по себе: а если всё ложь? А если нас по одному сейчас куда-то заведут – и пулю в затылок? Раз у них награды за победу над фашистами дают… А кто мы были? Даже антифы притворялись коммунистами, чтобы выжить.

И дело даже не в этом. А в том, что на войне мы сами так делали.

Мы не пошли в зал, а свернули по коридору. Надзирательница остановилась у двери с надписью «Реквизит». Махнула головой: входи.

– И не дай Бог ей расскажешь.

Я не понял, к чему относились последние слова, которые она почти прошипела мне в спину. Я думал до последнего, что это пыточная, в которой меня ждут с распростёртыми объятиями мои истязатели.

Дверь глухо за мной закрылась. Я ждал, что из полумрака кто-то гаркнет противным голосом: мол, ну вот, порадовался свободе, а теперь мы будем вытравлять из тебя нациста, голубчик… Но была полная тишина.

Я ступил в комнату: тут было навалено всяких ширм, стульев, штор и лавок, сельские плетни, деревенская утварь, аристократические кушетки с позолоченными ножками… Всё это убожество освещала керосиновая лампа – она стояла на круглом столе, покрытым зелёным бархатом, в углу комнаты. За столом спиной ко мне, положив голову на руки, спал человек. Я затаил дыхание от предчувствия и шагнул ближе.

Кнопка. Это была она. Я испуганно оглянулся на дверь. Это ловушка? Если меня с ней застанут вот так, наедине, тут не то что свободы не видать, а и до утра дожить, наверное, не получится. Да и ребята мои, если все эти россказни о свободе – правда, домой вернутся маловероятно. Порешат себя от тоски в один из дней в этом вонючем лагере.

Она подняла голову и оглянулась: пятясь, я что-то опрокинул. Сине-зелёные глаза были сонными.

– Мартин?

Я не знал, что нужно говорить. Вероятно, тут за одной из ширм прячется следователь. Но с чего ей называть меня по имени? Она бы тоже себя подставила.

– Привет, – решился я.

Мы смотрели друг на друга во все глаза. Я должен был уйти отсюда. До двери – три шага, и я уйду. Я не поддамся на их провокацию.

Кнопка сидела растерянная.

– Мария Николаевна не заходила?

Я качнул головой. Чёртовы русские, что за игры…

– Она сказала, чтобы я ждала здесь. И я уже час жду.

Не было похоже, что она играет. Но разведчица, герой войны, как же. Значит, самое хитроумное создание. Господи, только бы не попасться на удочку. Её нос в полутьме казался особенно острым, щёки – пухлыми, ресницы – короткими, и причёска – лохматой. Весь её прекрасный образ разрушался этим полумраком. И что я в ней находил раньше?

– Почему ты так смотришь? – ей стало не по себе, а я ведь, точно, без всякого смущения разглядывал её. Но я же просто искал побольше недостатков, ничего другого. И они проявлялись один за другим: и вовсе она не маленькая, таких я с детства коротышками обзывал. И линии вовсе не женственные, и фигура не пойми что, и главное – её уши были просто бесформенными, где я в них высмотрел тогда что-то от наливных яблочек?

Мы очень долго молчали. Я стоял во тьме, она сидела в круге света. Раньше я восхищался то её локтями, то голосом, то ладонями, многими частями этого маленького тела. И как-то не думал о ней в целом. А сейчас всё то, чем я отдельно восхищался, потеряло свою прелесть для меня, – но вся она, эта нежная, красивая и чистая девушка с железным характером – рядом с ней как же было легко дышать! И как хотелось дышать.

– А если бы ты узнал, что мы виделись на войне? – её голос был похож на зелёный бархат.

– Разве?

Я сел за тот же стол. Кнопка не смотрела на меня и всё о чём-то мучительно думала.

– Я был жесток с тобой?

Свет сине-зелёных глаз озарил меня:

– А если бы ты узнал, что так было?

Что это с ней? К чему этот разговор? Неужели играет?

– Я бы умер.

Дверь могли открыть в любой момент. Каждая секунда имела значение. На кону была свобода. Но, помня об этом, я думал и о другом. Я боролся – с другим. Я не особенно вслушивался в её слова. И не особенно задумывался над тем, что отвечал. Я видел только ослепительно сияющую её и жаждал дотронуться до этого сияния и навсегда раствориться в нём.

Я увидел, что мой ответ испугал её, – личико стало скорбным. И вздрогнул: сияние само коснулось меня. Её пальцы робко тронули моё всё ещё ноющее плечо, узнавшее зубы волка.

– Я тогда шла, не разбирая дороги. Было так страшно: ведь я сама сказала тебе «прощай» и думала, что всё, игра закончилась. Шла и громко проклинала себя. Сердце болело ужасно, и я хотела, чтобы оно, наконец, остановилось. Волков увидела – даже обрадовалась. Дерево какое-то стояло, я загадала: если успею на него забраться, то снова тебя увижу.

Её рука, поглаживавшая моё плечо, забылась на нём, пока Кнопка вспоминала тот вечер:

– Кусались больно…

– Ты почему на помощь не звала? – я и не заметил, как уже сидел рядом с ней и, обняв, покачивал её. Как ребёнок, Кнопка приникла ко мне. Тогда я почувствовал странное: у человека, который волнуется, частое и громкое сердцебиение. И у Кнопки было такое же, но несколько раз стук исчезал. Разве так бывает? Я не физиолог, конечно… Но что это?

Мою тревогу перебил её взгляд: она смотрела на меня так, будто впервые видела. Рассматривала мой нос, щёки, уши…

– Ты в отдельности не очень, а в целом красивый.

Рассмешила, шмакодявка. Но тут же я вспомнил про послезавтра, наше последнее послезавтра. Вот он, конец сорок шестого. Враги в объятиях друг друга. В любую минуту ворвётся менторша со свитой, что же с этим делать?

– Выходи за меня.

– Что?

– Берлин – твой. Мой сад и моя улица, театр у дома – всё твоё. Там тоже есть консерватория и отличная медицина…

– Ты о чём?

И правда, о чём это я. А как же тот орден, а как же Ленинград. А как же это проклятое послезавтра, которое неизбежно наступит. Есть ли выход?

– Выходи за меня, – повторил я.

Она долго с изумлением на меня смотрела. Я не видел в ней борьбу с собой, муки совести или тяжесть каких-то воспоминаний. Она просто смотрела на меня, и между нами стояла только эта последняя фраза. Ужасы войны, её кошмары и изощрённая жестокость, бесчисленные приказы на расстрелы, их исполнение, полыхающие деревенские домики, колонны пленных, идущие на запад… Тёплые воды Волги, куда мы с моими бойцами с таким неземным удовольствием прыгали по утрам, и особый запах русской земли, который забыть невозможно. Мы так верили, что эта земля будет нашей, и что эти многочисленные русские реки станут до конца дней омывать по утрам наши бесстыжие тела. А сейчас я держал в объятиях единственный трофей этой войны, который готов был увезти в побеждённый Берлин и который был дороже всех Берлинов. Чёртов предатель, как же я мог так думать?

А она кивнула. Снова. И снова. Что же мы делали? Как же мы могли?

Я пишу в фургоне. Мы едем в М. – никому не известный посёлок. Даже русские никогда не слышали его название.

Кнопка спит, прислонившись к менторше. Что будет завтра на том последнем концерте? Ей вручат награду – и она задумается, и, конечно, не поедет со мной. Зачем я герою войны? Зачем ей так унижаться?

А мне? Зачем она мне? Чтобы каждый раз в ссорах мы вспоминали, кто из нас нацист, а кто победитель. Чтобы каждый раз в годовщину их победы мы не знали, что сказать друг другу. Чтобы рано или поздно война, которая нас не оставит ни в снах, ни в воспоминаниях, уничтожила нас?

Почему она так беззаботно спит? Почему её ничто не мучает? Почему я один должен…

Вот я уже почти ненавижу её. Нет, не «почти», не «почти»! Как можно так безмятежно спать? Наше завтра всё ближе. Я обещал ей уговорить менторшу, чтобы нас расписали. А есть ли в этом смысл? Его нет. Эта злюка не даст согласие. Вы только посмотрите на её лицо, на эти страшные тёмные пятна под глазами. А этот треклятый орден… Кнопка сама от меня откажется, когда получит его.

Как же мы были счастливы вчера.

Вопреки обыкновению, в этот раз менторши не было с нами в зале, пока полным ходом шла репетиция. Кнопки не было тоже. Последний раз мы виделись в обед, когда приехали в М.: наверное, она сильно устала за эти недели, раз так долго не просыпалась. А может, сыграли роль бессонные ночи в изнурительных думах – кто знает. Менторша запретила её будить, и конвой бережно отнёс её в комнату, которую выделило местное начальство нашим дамам. Еду ей тоже отнесли туда же, а мы, пообедав, принялись за своё привычное дело: монтировать декорации, пробовать сцену. Мы должны были очень хорошо сделать этот концерт.

С нами был только конвой, Иван и Петя, они сидели где-то в рядах и о чём-то посмеивались.

Мы так привыкли ещё издали узнавать приближение надзирательницы с её тяжёлым шагом, от которого тряслись половицы и, кажется, вся русская земля, что сейчас были в полном недоумении, увидев её с нами на сцене. И как это мы её не услыхали? Она раздавала каждому невзрачные бумажки.

– Вот, как зеницу ока берегите, – говорила она, и мы не узнавали её голос. – Поезд на Ленинград сегодня в семь. Как приедете, с той же платформы состав на Берлин. Там разберётесь.

– Так… А разве не завтра, Мария Николаевна? – мы опешили, Мартин нашёлся первым.

Мы так боялись спугнуть эту неожиданную удачу.

– Сегодня, сегодня, – как в тумане, отвечала женщина-майор.

– Приказ на завтра, после концерта, – мы так боялись, что это шутка.

– Концерта не будет.

Она окинула синим взглядом декорации и остановилась на пианино с обнажёнными клавишами. Постояла над ним – и беззвучно закрыла крышку.

Ребята радовались, как сумасшедшие, а я снова ревел белугой и целовал свою невзрачную бумажку. Я бы повесился, если бы она вдруг пропала.

Конвой встал навстречу нашей бывшей кураторше. Мы услышали:

 – Бойцы мои, давайте всё сделаем, как подобает.

Что за «бойцы мои»? У тётки совсем крыша поехала – слогом высоким заговорила. И тут – она заплакала! Вот эта стальная баба!

– Закончилась, проклятая, а людей всё за собой тащит. Господи, что эти сволочи сделали с ней... Врач осматривал, и спина… Её спина, о, Господи… Вся изрыта, как поле, и эти ужасные буквы. Что она вынесла… Что же с ней делали…

Мы во все глаза и уши наблюдали и ничего понять не могли, что за припадок случился с менторшей. Иван сочувственно хлопал её по плечу.

– Буквами вот такими огромными… По всей спине. Ножом или прутом раскалённым, чем же её так? Имя – кого она играть-то любила.

– Ну, Маша, будет, будет, потом поплачем. Устроить всё надо, – мягко в наступившей тишине звучал голос Ивана.

Мария Николаевна взяла себя в руки и решительно утёрла слёзы.

– Да-да, устроим как следует.

– Шуберт?

Эти трое уходили, напрочь о нас забыв. Мартин – когда он успел со сцены соскочить? – уже был рядом с ними. Женщина-майор оглянулась, утирая невысыхающие глаза:

– Что?

– Было написано – Шуберт?

– Ох ты, Николавна, а про этих-то мы забыли! – опомнился конвой.

– Они свободны, пусть летят. Мечтали же… – та устало отмахнулась. – А если вернутся – я вот этими руками, вот этими руками задушу! За девок вот таких, за каждый волос с их головы!

Она снова горько заплакала, а Иван и Петя уже вдвоём утешали вздрагивающие плечи.

– Пойдём, пойдём, Маша, потом всё.

– Где она? – Мартин, белый как смерть, почти кричал. – Где она?

В тот момент он был ужасен: голубые глаза без конца вращались, губы тряслись, дышал он, как загнанный вепрь, да и дышать ему было тяжело – он без конца оттягивал вниз ворот рубахи и норовил глотнуть побольше воздуха.

Он нёсся, не разбирая дороги, проваливаясь в снег, падая на торчащие коряги и поднимаясь с окровавленными пальцами. Госпиталь был уже закрыт. Он заколотил в двери. Открыла возмущённая санитарка – и отступила, изумлённая его трясущимся видом.

– Наташа… Наташа… – всё повторял визитёр.

Это имя популярно у русских, но санитарка как-то сразу поняла, о ком речь.

Молча прошли они по длинному коридору и спустились в тёмный подвал. Она открыла дверь в стерильную комнату, откуда дохнуло холодом, пронизывающим до костей. Посреди комнаты на больничном столе лежала обнажённая Кнопка. Простыня закрывала её тело только наполовину.

Санитарка с ужасом увидела, как посетитель кинулся к столу и стал переворачивать мёртвую.

– Да что же ты делаешь, божечки мои!

Она скорее кинулась прочь, зовя на помощь.

– Ну, что же, фройляйн, будешь говорить?

Офицер деловито прохаживался мимо длинноволосой белобрысой девчонки, которая волком смотрела на него и на других с орлами на груди.

– Кто тебя послал и с какой целью?

– Меня никто не посылал, я мимо шла.

Офицер засмеялся, оглянувшись на «орлов»:

– Мимо, значит. С пистолетом!

– Я его на дороге нашла.

Офицер снова оглянулся на своих:

– Вы слышите? Какой немецкий! Бальзам для сердца.

Девчонка тянула лет на четырнадцать, но всем были известны эти твари партизаны: у них и дети мины в карманах носили.

Офицер дёрнул её за подбородок вверх – ростом девка не удалась:

– Кто тебя послал, я спрашиваю? Где ваше логово?

Она молчала, насупив брови.

Офицер уселся на скрипучий стул и махнул помощнику. Тот потащил белобрысую к бочке с водой. Всякий раз он повторял только одно:

– Где ваше логово?

Девчонка здорово нахлебалась. Помощник бросил её перед офицером. Тот зевнул.

– Ну, вспомнила? Ведь это же самый простой вопрос.

Она тяжело дышала, из носа шла кровь.

Допрос был в разгаре. Белобрысую с ног до головы покрывали кровоподтёки, локти стёрлись до кости, из маленьких ноздрей и рта лилось красное. Она дрожала обнажённая на голом ледяном полу, сжавшись, спиной вверх. Повсюду валялись белые потоптанные пряди.

– Господи, как же ты мне надоела. Может, и правда, ты просто шла мимо. Пистолет-то немецкий. Кто-то из вас обронил? Ай-яй-яй, какие нехорошие фрицы.

Он посмотрел на оскалившихся в ответ присутствующих, резко встал и вынул нож.

– Завтра повесить – в назидание местным. А пока…

Он перешагнул через дрожащую от боли девчонку так, что её тело оказалось между двумя острыми, как когти, сапогами.

– Включите радио. Нужно первое слово.

Полились нежные звуки серенады на рояле.

– Тут нет слов, гауптшарфюрер. Мы переключим волну…

– Оставьте. Идеально.

Офицер нагнулся и коснулся ножом мягкой спины. Сначала белобрысая только пищала, но потом пришлось звать помощников, чтобы они держали её, извивающуюся от боли. От пронзительного крика уши закладывало.

– Идеально, – офицер закончил вместе с музыкой и, довольный собой, выпрямился.

– Вы умрёте… – они услышали шёпот. – Вы все умрёте… В свой самый счастливый день.

Её бросили голышом в темноту, а через пару часов неожиданно атаковали русские, и все в спешке бежали, едва успев захватить оружие.

Мартин сел на корточки перед ней, такой маленькой, и приник губами к свесившейся голубой ладони. Поднялся. Её тёмные крашеные волосы у корней были белоснежно-седыми.

– Кнопка? – звал он. – Кнопка! Менторша про нас всё знала, слышишь?

Мартин тихонько тряс стол, с надеждой вглядываясь в неё.

– В Берлине очень красиво. Там моя мама. И очень уютный дом. Кнопка, ты поедешь со мной? Поедешь?

В распахнувшихся дверях замерли санитарка, какие-то люди и менторша, схватившаяся за сердце от представшей картины. Высоченный Мартин держал крошечную Кнопку на руках и покрывал поцелуями её лицо. Он увидел толпу и поморщился, как от боли:

– Ради бога, выключите радио.

Хоронили Кнопку с почестями. Дали тройной залп в небо. Орден Героя Советского Союза прикололи к тому самому синему платью, в котором она выходила на сцену. В нём она и ушла в свой последний путь.

Уже много лет прошло с тех пор. Мне почти девяносто, вы только подумайте. Я не собирался дописывать дневник Мартина, который в шутку украл и думал, что скоро верну. Но ведь, кроме меня, его никто и никогда не прочитает, а я люблю, чтобы не обрывалось на полуслове, как у него. И не люблю открытых концовок.

Ну что сказать? Я и сам не знаю, что с ним случилось. Мы уехали сразу после похорон, а его на них не было. Фрау Кин, его мать, долго встречала поезда с бывшими пленными из России. Мы вернулись домой в конце сорок шестого, а последний состав пришёл в пятьдесят пятом. Так вот она всё время ходила и встречала эти поезда.

У меня сохранилась фотокарточка, где мы вокруг Кнопки стоим. Мартин – самый длинный из нас – конечно, возле неё на корточках. А вот тот самый антиф-стукач. Оказывается, обо всём докладывал менторше, собака. Вот эти двое у нас сцены ставили. И русские тексты сочиняли. А вот этот – как там его, Крейнес, Кренс? – нет, теперь не вспомню. В общем, он всегда плаксивые роли играл. Это у него хорошо получалось. А это кто такой? Майн готт… Кто же это? На сына моего похож, такой же симпатичный и строгий. Майне либе, так это же я!

*Автор: Людмила Поликутина*